

## ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Однажды мы с приятелем зашли на Сенной рынок, чтобы извлечь оттуда судака, поскольку приятель, отъявленный удильщик, натягал из Невы ершей и плотвы, а финальной, серьёзной рыбыны для строительства ухи местные духи ему не послали. А в холодильнике уже заморожена бутылка хлебного... Закон суров: хорошая закуска должна сопутствовать славной выпивке, а венчать это дело должен душевный разговор. Словом, без судака никак.

Направляясь от рыбного прилавка с добычей к выходу, мы очутились у вещевых рядов и за стеклом одного из киосков увидели сделанную на картонке фломастером надпись: «Рука головы массажир». Под картонкой лежала закреплённая на деревянной ручке проволочная конструкция, назначение которой, постигнуть было непросто. Если бы не упомянутая надпись, я бы решил – что-то из кухонного арсенала, скажем, особой формы венчик. Белок, омлет, кремы всякие взбивать... За стеклом, готовый к акту торговой сделки, улыбался восточного вида продавец. Мы его разочаровали.

Приятеля моего – рыбака по призванию, филолога по судьбе – глубоко задели слова на картонке, так что и в процессе приготовления ухи, и после, в процессе застолья, он не мог далеко отойти от темы русского языка и нависшей над ним угрозы. Угрозы, по мнению его оскорблённых чувств, многоликой, коварной, безжалостно-агрессивной. Сленг молодёжных субкультур, сетевой олбанский, ненужные заимствования, безграмотные кальки с английского, чудовищные рекламные слоганы, уродство рыночных ценников, вторгающаяся

в нашу жизнь речь гастарбайтеров... Приятель не скупился на хлесткую брань, мой слух коробившую, но... в конце концов с нами не было женщин, и ругался он вполне грамотно. В принципе, я разделял его печаль: язык – наш дом, родной свет его окон, он – наш сад, цветы его и плоды, аромат их. Но о каком языке мы говорим? Языке улицы? Языке газет? Языке чиновников со всеми их «вызовами времени» и «окнами возможностей»? Неловком, но игручем, как глупый щенок, языке постов и комментов? Нет, решили мы, когда мы говорим о языке, мы говорим не об этом.

Да, сегодня мы, увы, живем уже не в лоне традиции, когда сын поёт с отцом одни песни, а дед им подпевает. Хотя некоторые ещё поют. Здесь есть печаль, но нет трагедии. И не вчера это началось. Пётр раскрашивал русский язык немецкими и голландскими румянами. Аристократические салоны рокотали бархатной романской фонетикой. Городские вывески конца XIX – начала XX веков пестрели латиницей. И что? Реформа орфографии слизнула некоторые нюансы на письме, но не иссушила суть. Новояз двадцатых годов прошлого века – ах, где ты? Молодёжный сленг сменяется, примерно, каждые пять лет, стирая предшественника практически без следа. Полуграмотные речи партийных бонз и тогда и теперь тешат наше природное чувство юмора. Базар по понятиям девяностых сегодня – лингвистический материал для речевых характеристик литературных и киноперсонажей. Да, нам трудно понять с первого предьявления Аввакума, но мы легко понимаем Ломоносова. Не первое столетие язык то обрастает чепухой, то сбрасывает с себя хлам, при этом теряя что-то и приобретая – но понемногу, не спеша. Просто язык наш всё ещё молод, он шалит, он растёт. Порой, бывает, заиграется, однако заумь футуристов – не повод для скорби.

А прежде? А теперь? Поморы и сибиряки говорят: сумёт, талинка, колышень. Скобари говорят: баркан, калевка, вшодчи. Легко ли им понять друг друга? Державу, как обруч бочку, удерживал и удерживает в едином целом русский литературный язык. Петербургский язык, потому что явился он из Петербурга в петербургский период русской истории. Теперь он общий. Так парижский язык сцементировал Францию времён Людовиков. Так берлинский немецкий выковал Германию. Об этом языке и речь – о языке русской литературы.

Чем этот язык отличается от языка улицы, пусть и петербургской? Да хотя бы тем, что язык многих писателей, купающихся в самой стихии русской речи, в её эйдосе, в её льющихся пряником с небес струях, не существует в чистом виде за пределами их произведений. На нём не говорят нигде. И никогда не говорили. Таков язык Набокова и Платонова, Андрея Белого и Саши Соколова. И тем не менее этот язык читателю понятен.

Здесь тот же фокус, что и с правдой жизни. Литература существует по законам художественного, её территория – область символического. Правду жизни оставьте очерку и публицистике – для художественной литературы важна не правда, а *замысел о правде*. То есть важна правда художественная. А художественная правда от правды жизни отличается так же, как Государь от милостивого государя. В своё время Олеша говорил: когда читаю у нынешнего автора, что комсомолка Клава сработала за смену двести пар чулок, то отчего-то не верю, а когда читаю у Гофмана, что дверь без скрипа отворилась и в комнату вошёл дьявол, верю. Просто одно написано талантливо,

а другое – нет. И никакая правда жизни не сможет сделать мёртвое живым.

И язык улицы, как правда жизни, литературе не важен. Они вроде бы одной природы, но несовместимы, точно кровь разных групп с полярными резусами («Если я что-то не путаю», – добавил приятель). Язык улицы в доме литературы будет всё время фальшивить, задевать углы, бить посуду, фонить, как заводящийся микрофон в руках у неумелого шансонщика. Язык улицы будет дурно пульсировать в литературе, как воспаление, сочиться из неё, как гной из больного органа. Он, язык улицы, в литературе может прописаться лишь в качестве приёма, как инструмент выстраивания той же речевой характеристики. Рекламный плакат и олбанская мова схлынут с нашей жизни как с гуся вода, а литература, словно бел-горюч алатырь-камень, словно пуповинная скала, останется. Потому что по преимуществу именно она своею силой, своим художественным языком создаёт тот культурный миф, с которым мы все в России себя отождествляем, который позволяет нам чувствовать свою исключительность, свою неравность остальному миру. А без того не быть счастью. Потому что без собственного яркого и могучего культурного мифа мы сиры, ничтожны, никчёмны, а это ощущение – главная язва, глодающая счастье человека. Не объём купли-продажи, не производство и потребление, не валовый продукт и рост благосостояния – культурный миф народа делает его жизнь осмысленной и достойной, позволяет одолеть беду не через личную измену, а через общее сверхусилие. Позволяет противостоять экспансии чужого культурного мифа, издавна ведущего с твоим тихое соперничество и всегда готового взять тебя себе в услужение.

– Я ничего не имею против, – сказал мой приятель, – когда Григорий становится Борисом, а Евгений – Егором. Они просто морочат своих ангелов-хранителей и только. Но когда Алексей называет себя Алексом, а Николай – Ником, я чувствую, что ковчег моего спасения под названием Русская Культура даёт течь.

– Но ведь в этой течи виноваты мы. – Несмотря на замечание, в мою тарелку хлынула новая порция ухи. – Потому что это мы с тобой не смогли навести победительный образ, вызвать и удержать тот великий мираж, перед которым в немом восторге замер бы остальной мир. И Джон в своих детских играх называл бы себя Ваней, а Линда – Алёнкой.

Конечно, не обошлось без лукавства. Дело, само собой, не только в нас. Государство должно из года в год вкладываться в культуру, не ожидая коммерческих дивидендов, поскольку вклад в культуру – вклад в вечность, как всякое дело любви. Идёт состязание грёз, война соблазнов – ни горячая, ни холодная, ни на жизнь, ни на смерть – война на очарование. Быть зачарованным чужим культурным мифом в исторической перспективе – хуже смерти. Это добровольное рабство, рабство без принуждения. Когда чужой язык, чужая культура и чужой образ жизни начинают казаться более соблазнительными, чем твои собственные, – это и есть поглощение. Поэтому лидеры нации должны биться за русский язык столь же непреклонно, как бился за французский боевой генерал де Голль. Но об этом друг другу мы не сказали ни слова, потому что нам было неведомо малодушие, и свою вину мы не собирались уступать никому. И ни с кем делить её не собирались тоже.

Так мы допили бутылку, чувствуя, что наш разговор достоин нашей дружбы. И «рука головы массажир» на этот вечер выветрился из нашей

памяти. Картонка больше не страшила нас. Сходяв за следующей, мы принялись решать вопрос, какую достойную цель можно придать человеческому существованию. Домостроительство? Подрубить столько денег, чтобы купить себе недолговечную и эфемерную благоустроенность? Но аскет, не имеющий страха перед миром, будет свободнее и счастливее тебя, сторожащего своё добро. Милосердие? Облегчение людских страданий? Но костлявая справляется с этим делом ловчее. Нестяжание...

И тут мой приятель заплакал – тихо, как сыр. Я спросил, имеют ли его медленные слёзы какое-то отношение к проблеме языка? К деструктивному влиянию культурно-речевой ситуации на массовое сознание? К нарастающему коммуникативному кризису, обусловленному размыванием традиционных культур? Или его печалит проблема цели? Принципиальная невербализуемость закона общего долга? «Небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лёд...» – грустно сказал он в ответ.

Вот! Именно так! И я... я тоже чувствовал это.

# ШАНС ВЫРАСТИТЬ КРЫЛЬЯ

Живущим в Петербурге известно, что в расхожем мнении – будто не важно, где ты родился и жил до того, как попал в силки СПб, поскольку настоящая жизнь души начинается именно здесь, – нет художественного преувеличения. Так, в сущности, всё и происходит. Но если попал, если влип, если вдруг ты этим городом *восхищен*, тогда включается особенный отсчёт – отсчёт ответственности за дела/слова, которую здешние духи/ангелы измеряют высшей мерой. Как после крещения. Для тех, кто не влип, кто отбракован, отсчёт не меняется. Возможно, к счастью. Таких город обычно исторгает, в библейском смысле изблёывает из уст – бывает, с психическими и физическими травмами. Как в случае с одним известным культурным деятелем N, который при первой попытке покорения Северной столицы (за спиной уже остались выбросившие белый флаг Екатеринбург и Москва) поскользнулся на Галерной, сломал себе стыдную косточку, после чего и отбыл восвояси, а со второй попытки – в пору чёрных петербургских дней (уравновешивающих белые ночи) – получил тяжёлое расстройство системы нервов и отбыл снова.

Марат Басыров, безусловно, влип и был восхищен.

К тому времени, когда мы познакомились, у него уже было кое-что написано и даже что-то издано. Однако сам автор издания эти не показывал – ни как курьёз, ни как повод для сдержанной гордости. Считал, должно быть, работу пробной, ученической. Зато «Печатную машину» (свою последнюю на тот момент рукопись) вручил с трепетом, который не подделать. И верно – её уже никак нельзя было назвать пробой пера, наоборот, это было потрясение, колебание разума и чувств – добрых шесть баллов по шкале Рихтера. Не катастрофа, мы люди бывалые, но тряхнуло ощутимо. Такое, к счастью, в нашем художественном пространстве ещё случается довольно регулярно, что говорит о высоком напряжении творческих энергий под Русской равниной. На дворе стоял 2013 год, времена относительно свежие, и если встряску эту не многие заметили, то причина в том, что литература нынче вышла из фокуса всеобщего внимания, сделавшись достоянием практически сугубо цеховым. Но нам-то что до переменчивых ветров – тем, кто колдовским этим ремеслом по-прежнему живёт и дышит?

Впечатление от «Печатной машины», очень по структуре странно-го романа, вероятно, точнее всего можно было бы описать через опыт вхождения в ИСС (измененное состояние сознания) с помощью определенных психотропных средств. Но опыт наш в этом деле ничтожен, поэтому придётся идти путём последовательного нарратива.

Ощущение восторга от соприкосновения с неким эталоном подлинности, сладкую муку сопереживания и растерянную опустошённость

от того, что текст вытеснил из нашего чувствилища всё, что было там прежде, и целиком занял это место, – вот те переживания, которые накапливаются во время и после знакомства с «Печатной машиной». Причём анализу эти чувства поддаются с трудом. В отношении эталона подлинности ещё куда ни шло: написан роман безупречно – язык выразительно скуп, точен, взвешен, композиция, составленная из небольших блоков, каждый из которых является законченной, вполне самостоятельной историей из жизни главного героя, вырастает в крепкую, прихотливо возведённую архитектуру, которая общей сумме этих историй придаёт дополнительный романский смысл, превышающий по силе художественного воздействия силу любого из блоков, взятого в отдельности. А вот с мукой сопереживания сложнее: внутри героя зияет такая дыра, что от свистящего в ней холода зябнут корни волос. И тем не менее этот на удивление бесчувственный к окружающим, но измученный, плачущий, осознающий собственное несовершенство герой тянется к свету, понимает, что он (свет), пусть в данный миг лично для него и недостижим, но он есть, и в нём – спасение.

Что ж, в каждой национальной литературе найдётся писатель, создавший яркий образ экзистенциального бунтаря, в котором олицетворено самосознание если не целого поколения, то значительной его части. Но мир, покинувший лоно традиции, устроен так, что дети не признают идеалов отцов, – каждое поколение заново ищет для себя героя, которому согласно позволить говорить от своего имени. И этим героем никогда не станет человек, застывший в позе мудрости, знающий сроки, ответы на главные вопросы и рецепты успеха. Нет, герой этот – мятущаяся личность, сплав демонических страстей и плачущей под их гнётом осквернённой души. Марат Басыров дал жизнь и голос этому герою – на тот момент герою поколения сорокалетних. Недавно ещё безрассудных, бунтующих, на ощупь познающих разницу между наваждением и озарением, теперь уставших, но не смирившихся и не простивших.

С изложенными здесь соображениями мы предложили эту рукопись в ненадолго возрождённый «Лениздат», и вскоре «Печатная машина» вышла в свет. А выйдя, тут же оказалась в финале литературной премии «Национальный бестселлер», что, безусловно, здорово – признание нужно живым, творящим, ищущим, ещё не пережившим свой талант, как змея переживает собственный яд.

Признаться, в ту пору у многих возникали сомнения: хватит ли Басырова на вторую столь же пронзительную книгу? Уж больно силён градус горения. Да и герой (в котором невольно видишь альтер эго автора) оставлен на такой рискованной черте, что ещё один шаг – и бездна. Впрочем, и без пресловутой бездны, которой пугают взрослых, как детей сереньким волчком, лучше об этом герое уже не скажешь. Если кому-то всё ещё непонятно, в чём существо сомнений, поясняем. Есть писатели, всю жизнь творящие одну большую книгу. Разрастающуюся, разветвляющуюся – но это всё равно одна и та же книга (таков Шаров, таков Лимонов). Если бы Басыров был именно таким писателем, после «Печатной машины» он бы замолчал. В противном случае нам бы довелось услышать дребезг фальши – ведь своего героя он уже предельно обнажил, и сказать о нём слова, равные по силе прежде сказанным, возможно вряд ли. Но Марату хватило интуиции и таланта на то, чтобы оставить предыдущего героя, отодвинуть его в сторону и в многофигурный центр (такая разделяющаяся боеголовка) новой книги

поместить других людей, судьба которых автором, похоже, отчасти тоже списана с натуры.

В «ЖеЗеэл», своём следующем романе (в обоих случаях благодаря прихотливости композиции жанр определён условно), Басыров ни на волос не понизил планку – просто мастерски сместил акценты. Рассказчик (более спокойный, взвешенный и рассудительный, нежели в «Печатной машине») здесь словно бы уходит в тень, оставляя под софитами своих товарищей по отчаянной и, как каждому известно, не слишком чистоплотной юности. Идея на зависть проста. Возьмём, скажем, человека, просиявшего на известном поприще, достигшего успеха и признания в деле, которое мы считаем желанным предметом его усилий (допустим, знаменитого скрипичного мастера), – но в своей повседневности он на поверку, может статься, до оторопи не изобретателен, скуп на живые устремления и чувства и больше всего в жизни любит не своё дело, а утку, запечённую с трюфелями. Или наоборот – жизнь человека была необыкновенна, переменчива, трагична, полна ярости, громов и молний, а запомнился он потомкам по своему скучнейшему занятию – научному препарированию червей и изучению строения их пищевода. Нужно, конечно, и в чём-то тоже увлекательное дело, одна-ко... Так вот, эти люди на том основании, что оставили по себе память за гробом, законно претендуют на томик с развёрнутой историей своих мытарств в жанре ЖЗЛ, что прочим не по чину. Но разве это справедливо? А как же те, кому не повезло, кто, может быть, просто не совпал со временем? Бывает же подобное несовпадение по фазе... Как же те, кто подавал надежды, бился в окружении соблазнов и не устоял? Неужто судьба их не достойна нашего внимания?

Обычно тут не спорят – не застолбил делянку в памяти потомков, стало быть, помалкивай и не сопи из гроба. Но не таков Басыров – он не пожелал предать забвению любезных его сердцу умников и мудошлёпов, тех, кто блистал как мог, но оказался пасынком в питомнике у привередливой судьбы. К тому же пасынком вполне ещё живым и, возможно даже, как та лягушка, угодившая в горшок, всё ещё сбивающим из молока спасительное масло...

Их пятеро – по числу глав книги: поэты, чьи заклятия не жгли сердец, несбывшиеся прозаики, отказывавшиеся признавать фиаско, неукротимые упрямы, месящие тугую глину (жизни) и при этом – любящие, предающие, отчаивающиеся, возвращающиеся, прощающие. (Боже, сколько шипения в таких человеческих суффиксах!) Жизнь этих замечательных неудачников ярка, нелепа и трагична. И рассказ о них полон горькой правды. Правды и милосердия.

Вот финал истории:

И вдруг я понял, кто мы есть на самом деле.

Я достал мобильник и поднёс к уху.

– Алло, – отозвался Сергеев сквозь гул набирающей ход электрички.

– Знаешь, кто ты? – сказал я.

– Кто?

– Ты ангел.

– Ангел?

– Да. Ангел без крыльев.

– Что?

– Но у тебя ещё есть шанс.

– Ладно, я тебя не понимаю. Плохая связь. Позвони мне потом.

Я отключился и убрал телефон.  
На душе было неспокойно.  
У меня ведь тоже он был.  
Этот шанс вырастить крылья.

Марат Басыров свой шанс не упустил, вырастил крылья. И книга эта – ни в коем случае не досужий междусобойчик. И не личный горький мартиролог автора. Марату удалось на собственных крыльях вознести своих героев в небеса символического и сложить их в безупречно опознаваемое современниками созвездие – созвездие Блестящих Неудачников. Так что будущие хрононавигаторы, взявшись прокладывать маршруты своих странствий по времени, непременно станут полагаться на эти небесные точки как на вернейшие из всех координат. Что ж, зачастую невероятными бывают не только победы, но и поражения. И ещё неизвестно, какое из двух этих событий просияет в грядущем звездой.

И последнее. Марат родился в 1973 году в Уфе – так он сам говорил и писал в соцсетях. Сестра его утверждает, что он родился в августе 1966-го в городке Стерлитамак, что в бывшей Башкирской АССР. Кто кого водит за нос, в общем-то не важно. Ведь мы уже упоминали, что для тех, кто влип в петербургские силки, отсчёт начинается заново – и с этого момента их дела/слова меряются ответственностью высшей меры. В Петербурге Марат с начала 90-х. Учился в Техноложке, влюблялся, бедствовал, грешил, страдал, писал свои пронзительные книги. А 8 сентября 2016-го – быстро и неожиданно умер. Лёг в больницу на плановую операцию, и что-то пошло не так... Возможно, в определённом смысле это можно расценить как милость – умереть на творческом взлёте, не пережив собственный талант. Но оставим – не наше дело *эту волю* обсуждать. Книга «ЖеЗеЛ», выправленная Маратом и вычитанная, вышла через месяц после его смерти. Марат не пережил не только собственный талант, но и собственных героев, тревожную память о которых не согласился предать, хотя вряд ли они останутся ему за это благодарны. Таково свойство живых, если осмелишься коснуться их существа в попытке очистить от паразитарных наслоений и запустить в небеса символического.

Но Марату уже всё равно. Город его измерил и принял. Он – в небесном Петербурге, качается в его сетях, как в волшебных снах наяву, и продолжает спасать от забвения то, о чём успел поведать.